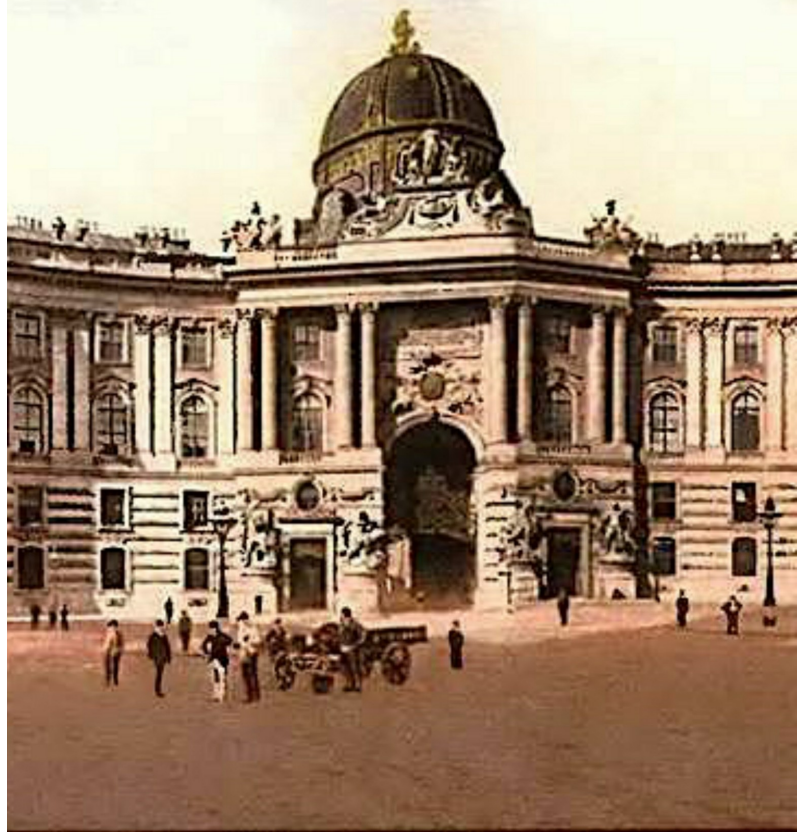


Дмитрий Белозёров

ТИТАН
симфония ре мажор



Дмитрий Юрьевич Белозёров

Титан

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29416710

SelfPub; 2018

Аннотация

Жизнь человека, словно спектакль, идёт на фоне декораций – знаменитых зданий, городской топографии, под звуки знаменитых музыкальных произведений, западающих в память, звучащих на протяжении этого спектакля снова и снова, и нам кажется, что мы исполняем в этой пьесе главную роль, но что если мы – лишь статисты, а главные герои – это они, здание венской оперы, собор Святого Штефана, первая симфония Густава Малера? Сколько времени нужно человеку, чтобы понять: финал этой пьесы предопределён, и всё, что у нас есть – это не воспоминания и мечты, а краткая возможность радоваться быстротечному «сейчас»? Быть может, всего один день?

I. Сонатное *allegro*

Иван Николаевич Штайнберг шел по Рингштрассе, пытаюсь припомнить, так ли выглядели те или иные здания, деревья, памятники пять – или сколько там? – лет назад, когда мир был иным, когда сам он был иным, цельным, не расколотым на *до* и *после*. Вот хеллмеровский памятник поэту Гёте, бронза окислилась, приобретя малахитовые оттенки, ты даже не бывал в этом городе ни разу за всю свою жизнь, думал Иван Николаевич, а тебе поставили памятник, да не где-нибудь – на Рингштрассе! “Кто воротит мне дни блаженные...” А я вот бывал, и кто воротит мне мои блаженные дни? Память моя вся в мнемонических зарубках: вот здесь Мари остановилась, чтобы завязать шнурок на высоком ботинке. Тонкие красивые пальцы замерзли, покраснели, не слушались. Смеялась, путаясь в полах длинного пальто, пошатнулась. Я поддержал её под локоток. Прямо вот здесь, у памятника. И отлился момент в памяти, как в бронзе.

Они были здесь с её родителями, еще до октябрьского переворота, и тоже накануне Рождества. Какой это был год? Тысяча девятьсот девятый? Иван Николаевич плохо помнил даты и имена, нужное записывал в маленькую книжечку в ледериновой обложке, которую всегда носил с собой, но в остальном память у него была неплохая. Да-да, вот отсюда

они прошли с Мари к зданию оперы, тут недалеко, всего один квартал, и она всю дорогу без умолку болтала, о Малере и его первой симфонии, и о том, насколько недооценен современниками этот гениальный композитор, и – ах, представь, Ванюша, ему пришлось уехать в Америку, вот где понимают и ценят все передовое, не то, что эти узколобые имперцы, но она слышала его выступление в Берлине, несколькими годами ранее, исполняли её любимую первую, дирижировал сам маэстро, и это было чудесно! Чудесно!

Иван Николаевич музыки не понимал. Возможно, это было связано с какими-то особенностями его слуха. В те годы, когда большинство его ровесников осваивало различные музыкальные инструменты, он убивал лягушек у кромки пруда, вспарывал маленьким перочинным ножичком их скользкие тельца и подолгу рассматривал алые внутренности с белесыми прожилками. Вид этих загадочных кишечных хитросплетений надолго засел в памяти мальчика, что, возможно, и предопределило его будущую профессию. Да и Сигизмунд Соломонович Берлянд, не последний в Екатеринодаре учитель музыки, мягко, но недвусмысленно дал в своё время понять мадам Штайнберг, что её маленькому Ване найти свой путь в музыке будет весьма сложно.

Иван Николаевич любил тишину, как иные любят хорошую музыку; как музыка бывает лишь фоном для размыш-

лений человека, внезапным зеркалом, способным отразить невысказанное, тончайшие движения души, так и тишина, считал он. Кольми паче – тишина. Будто с самого детства чувствовал, что жить придется во времена шумные и беспокойные.

В последние годы жизнь его действительно была нестерпимо шумной, нарастая оркестровым *crescendo*, пока шум всех этих исторических событий не достиг какого-то предела, лопнув где-то далеко за сценой чеховской гитарной струной. И тогда Иван Николаевич решил уехать из России.

В первой части – шесть валторн в унисон, как у Шуберта, восторженно рассказывала Мари о своей любимой первой симфонии, это восторженность гимна, говорила она, сверкая глазами. Нет, Мари, думал он теперь, огибая здание оперы, и двигаясь по Кернтнершрассе в направлении собора Святого Штефана, это восторженность молодости, когда жизнь представляется вечной, бесконечной, и это не ошибка, потому что она действительно вечна, но только жизнь вообще, а не твоя.

II. Сложная трёхчастная форма с трио, как в классических менуэтах и скерцо

Пройдя один квартал по Кернтнершрассе, под колонна-

дой Стаатсопер, он свернул налево, на Филармоникерштрассе, и в этот момент посыпал с неба легкий снежок, на чисто вымытые тротуары и мощеные булыжником улицы, на которых снежинки, отыграв свою роль статистов зимы, мгновенно таяли. На другой стороне Филармоникер вдруг распахнулись двери отеля Захер, и на улицу, в тишину, навстречу падающим снежинкам, вывалилась шумная компания – пожилой господин в несколько старомодном цилиндре и пальто с собольим воротником и с ним две девицы. Все трое были явно пьяны, и вид падающего снега привёл их в какой-то детский, экстатический восторг, которого трезвый человек обычно склонен стесняться. Господин, завидев на углу фиакр, энергично замахал рукой, при этом с него чуть не свалился цилиндр – девица, что прижималась к нему справа, расхохоталась, придерживав цилиндр рукой в черной кожаной перчатке. “Monsieur Guillaume, vous êtes ivre, vous perdez votre tête-e-e!” – громко сказала она с сильным эльзасским акцентом и расхохоталась, закинув свою непокрытую tête назад, подставляя лицо падающим снежинкам. Её коротко стриженные черные волосы растрепались; Ивану Николаевичу она казалась совершенно счастливой, пьяной настоящим моментом, свободной от всякого прошлого и будущего.

Через несколько мгновений они скрылись внутри фиакра, громко скрипнув закрываемой дверцей; ещё какое-то время их смех звенел, катился эхом по Филармоникерштрассе,

потом щелкнул кнут, фиакр свернул вправо, на Тегетхоффштрассе, и через пару секунд все стихло, и смех, и стук копыт о мостовую, и улица снова погрузилась в сырую, зябкую тишину. Швейцар, понаблюдав недолго за бесшумным вихрем снежинок, вернулся в тепло натопленного вестибюля.

“Кто воротит мне дни блаженные?” – бормотал чуть слышно Иван Николаевич, и в памяти снова возникло лицо Мари, прежней, девятнадцатилетней, не тронутое годами разлук. Казалось, оглянись он сейчас – и увидит ее, такой, какой она запомнилась больше всего, петроградской студенткой, беспечной и лёгкой, безо всех этих лет за спиной.

Иван Николаевич вдруг подумал, что Вена всегда была для него каким-то безвременьем, точкой, где ничего не менялось годами, тогда как в соседней, Российской империи за те же несколько лет могли смениться три-четыре правительства, мог рухнуть трон и вообще всё, что когда-то казалось незыблемым и вечным. Архитектура, вот в чем дело, размышлял Иван Николаевич, направляясь по Августинерштрассе в сторону Йозефплац, архитектура – это же онемевшая музыка (так, кажется, говорил всё тот же Гёте?), но теперь ему казалось, что архитектура – это и застывшее время, ты можешь родиться и умереть в пределах каких-то пятидесяти-семидесяти лет, а здание Оперы этого и не заметит. Его

архитектор повесился, потому что в XIX веке все смеялись над его детищем, смеялся даже император Франц Иосиф, но прошло почти полвека, многие из насмешников мертвы, лежат в земле, не смеются, даже император Франц Иосиф, а здание Оперы стало визитной карточкой Вены, им принято восхищаться и посылать домой открытки с его видами. Застывшее, как на открытке, время. Впрочем метафора Гёте ему, настоящую музыку понимавшему с трудом, тоже очень нравилась. Онемевшая. И всё-таки музыка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.